ПЕПЕЛ НА ТВОИХ ГУБАХ



Дана Рэйн

18+

Дана Рэйн

Пепел на твоих губах

«Автор»
2026

Рэйн Д.

Пепел на твоих губах / Д. Рэйн — «Автор», 2026

Алина знала Помпеи по учебникам, музейным витринам и холодным табличкам под стеклом. Она умела говорить о гибели древнего города спокойно: дата, извержение, пепел, история. Но однажды пепел открылся ей сам.Она просыпается в чужом теле, в чужом времени и в чужой несвободной жизни. Теперь её зовут Каллиста. Она — образованная рабыня в богатом римском доме, тайная учительница риторики для молодого наследника Марка Аврелия Севера. Её ум ценят, но её голосу не положено звучать слишком громко.Алина понимает страшное почти сразу: это Помпеи. До извержения Везувия — около месяца.И если город нельзя спасти целиком, возможно, ещё можно спасти тех, кто поверит. Возможно, слово действительно способно открыть дверь сквозь пепел. Даже между веками.

© Рэйн Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Рабыня, которая знала смерть города 5
Глава 2. Урок для господина 13
Глава 3. Дом, где ум держали взаперти 23
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Дана Рэйн
Пепел на твоих губах

Глава 1. Рабыня, которая знала смерть города

Алина проснулась от жёсткого прикосновения камня к щеке.

Пол был тёплым — так бывает в южных домах к вечеру, когда дневная жара ещё держится в плитах и не хочет уходить даже ночью. Камень давил в плечо, пах пылью, известью и чем-то терпким, незнакомым. Не больницей. Не квартирой. Не музейным залом, где всегда пахло кондиционером, лаком старого паркета и чужими пальто.

Она открыла глаза и сначала увидела пол: неровные каменные плиты с тонкими тёмными прожилками между ними, засохшее пятно вина или масла у стены, крошку хлеба, которую тут же утащил маленький чёрный муравей. Всё было слишком близко, слишком подробно, слишком реально для сна.

Алина попыталась вдохнуть — и закашлялась. Воздух был тяжёлым. В нём смешались запахи оливкового масла, дыма, прогретой штукатурки, человеческих тел, трав, влажной шерсти и чего-то сладкого, почти приторного. Где-то рядом громко плеснула вода. Кто-то сказал резкое слово на латыни.

Она замерла.

Латынь была не учебная, не из аудиозаписи к курсу, не торжественная и вымеренная, удобная для разбора по падежам. Живая. Быстрая. Грубоватая. С проглоченными окончаниями и интонациями, которые не имели ничего общего с университетскими реконструкциями.

— Callista!

Имя ударило по воздуху, будто плеть.

Алина попыталась приподняться. Голова тут же закружилась, стены пошли в сторону, солнечное пятно на полу стало белым, почти слепящим. Она опёрлась рукой о камень — и только тогда увидела свои пальцы.

Не свои.

Тоньше. Темнее от солнца. С короткими, неровно подпиленными ногтями. На запястье — след, будто там долго носили жёсткий браслет. Не украшение. Скорее метку. Потёртая кожа, тонкая полоска старой боли.

Алина перестала дышать. Она подняла вторую руку, коснулась лица. Щека была не её. Линия подбородка — не её. Волосы, упавшие на плечо, оказались тёмными, густыми, тяжёлыми и пахли дымом, ладаном и чем-то масляным.

Нет.

Она резко села, и мир качнулся.

Перед ней было узкое помещение с выбеленными стенами, низкой деревянной скамьёй, глиняным кувшином у стене и приоткрытой дверью, за которой слепило солнце. На стене висела простая туника. Рядом лежали восковые таблички, стилус, свёрнутый кусок ткани.

Она знала эти вещи. Не как человек, который ими пользовался, а как человек, который объяснял их студентам, показывал на слайдах, подписывал в музейных карточках: восковая табличка, палочка для письма, простая домашняя туника, не праздничная, не театральная, без современной стилизации.

На ней самой тоже была туника — светлая, простая, подпоясанная под грудью тонким шнуром. Ткань касалась кожи слишком прямо, слишком непривычно, без белья, без привычных слоёв современности, без защиты. Каждый вдох заставлял ткань слегка смещаться, и это

лёгкое, почти неуловимое трение по коже было одновременно чужим и слишком ощутимым. Алина судорожно подтянула край к плечу, словно могла этим вернуть себе собственное тело.

— Callista! — снова крикнули снаружи.

Каллиста.

Имя было греческим — это Алина отметила почти машинально, как отмечала бы в каталоге происхождение надписи или имени на погребальной стеле. Само по себе оно ещё ничего не объясняло. В римском доме греческим именем могли звать рабыню, служанку, певицу, переписчицу — кого угодно, купленную, подаренную или рождённую уже здесь.

Но рядом лежали восковые таблички и стилус. На низкой скамье был раскрыт свиток. А голос за дверью звал её не как гостью и не как хозяйку, а с раздражённой привычностью человека, который уверен: Каллиста должна явиться по первому требованию.

Алина посмотрела на след от браслета на своём запястье, потом снова на таблички. Греческое имя. Римский дом. Письменные принадлежности. Чужая власть, которая уже имела на неё право.

Образованная рабыня, поняла она. Или, по крайней мере, та, от которой ждали не только работы руками.

Дверь распахнулась.

Вошла женщина лет сорока, смуглая, плотная, с сильными руками и раздражённым лицом. На ней была простая тёмная туника, волосы убраны под ткань. Она остановилась на пороге и уставилась на Алину так, будто та совершила что-то неслыханное.

— Ты ещё здесь? — сказала женщина по-латыни.

Алина поняла. Не перевела, не разобрала — именно поняла, как понимают родной язык, хотя в голове всё ещё оставалась паническая уверенность: этого не может быть.

Женщина подошла, схватила её за плечо и подняла на ноги. Не жестоко, но без малейшей мысли спросить разрешения. От этого прикосновения Алина дёрнулась.

— Что с тобой? Ты бледная.

Алина открыла рот. Нужно было сказать что-то. Хоть что-то. Спросить, где она, кто эта женщина, почему она понимает живую латынь, почему руки чужие, почему её зовут греческим именем, почему на коже след от рабского браслета. Но язык не слушался.

Женщина прищурилась.

— Каллиста, если ты снова падала в обморок, скажи лучше сейчас. Господин не любит, когда его сын ждёт.

Господин. Сын. Каллиста. Восковые таблички. След от браслета. Образованная рабыня в римском доме.

Все эти признаки складывались медленно, почти издевательски, как фрагменты разбитой надписи, которую она ещё не хотела читать целиком.

И тут память ударила её с другой стороны.

Вчерашний вечер. Музей. Новая выставка по Помпеям. Маленькая бронзовая табличка с надписью, которую она должна была проверить перед открытием. Трещина на поверхности. Странное тепло металла под пальцами. Фраза на латыни, которой не было в каталоге:

Vox aperit cinerem.

Голос открывает пепел.

Потом — вспышка. Запах серы. Крик, которого не должно было быть в пустом зале. И темнота.

Женщина встряхнула её.

— Ты слушаешь?

Алина сглотнула.

— Да.

Голос был тоже не её: ниже, мягче, с лёгкой хрипотцой, будто эта Каллиста много читала вслух или часто молчала, когда хотела кричать.

Женщина отпустила её плечо.

— Тогда иди. Марк Аврелий Север уже в перистиле. И если он снова пожалуется, что ты заставила его ждать, отвечать буду не я.

Марк Аврелий Север.

Тройное имя. Римский дом. Достойная семья. Не бедная, если у сына есть отдельная рабыня-учительница, перистиль, таблички, время для риторики и отец, которому важно, чтобы наследник не ждёт.

Алина сделала шаг — и едва не упала. Женщина раздражённо подхватила её за локоть.

— Боги, да что с тобой сегодня?

Алина заставила себя выпрямиться.

— Жара.

— Жара, — передразнила женщина. — В Помпеях всегда жара. Иди.

Помпеи.

Слово стало стеной.

До этого она ещё могла цепляться за безумные версии: сон, бред, съёмочная площадка, музейная инсталляция, провал памяти, приступ после работы с артефактом. Но женщина сказала это буднично, раздражённо, как говорят о месте, где живут и устают от солнца.

В Помпеях всегда жара.

Алина медленно повернула голову к двери. За ней был свет — слишком яркий, бело-золотой, живой.

Она вышла, и мир ударил по ней всем сразу.

Внутренний двор дома был залит солнцем. Белые стены, красные фрески, колонны, зелень в кадках, вода в прямоугольном бассейне, отражающая кусок неба. В центре атрия поблёскивал имплювий — бассейн для дождевой воды. Над ним открывался прямоугольник неба. На стене у входа темнела фреска с виноградными лозами и птицами, написанными в той самой лёгкой, живой манере, которую Алина видела под стеклом в музеях.

Только здесь краска не была древней. Она была свежей. Не музейной, не очищенной реставраторами, не освещённой мягкими лампами. Она жила на стене среди жары, голосов, запаха масла и пыли.

Рабы ходили быстро и молча. Где-то смеялась девушка. За стеной кричал торговец. Вдали стучали колёса. Над всем этим стоял шум живого города — не руин, не археологического парка, а города, который ещё не знает, что станет учебником смерти.

Алина остановилась на полшага. Ей стало плохо не от страха даже — от узнавания.

Архитектура дома. Атрий. Перистиль в глубине. Фрески. Латынь. Имена. Рабский статус. Запах оливкового масла. Жар южного города. Женщина сказала «Помпеи».

Оставался последний признак.

Она подняла глаза выше крыш. И увидела Везувий.

Он стоял вдали — спокойный, в синей дымке от расстояния, почти красивый. Не чудовище. Не раскрытая рана. Обычная гора под ясным небом. Слишком тихая. Слишком невинная.

Алина знала его другим: на схемах извержения, на фотографиях залива, на реконструкциях, где над городом поднимался столб пепла. В лекциях она говорила ровным голосом: «Извержение 79 года уничтожило Помпеи, Геркуланум и ряд вилл в окрестностях». Она произносила это десятки раз — спокойно, профессионально, как дату, как факт, как материал.

Но факт никогда не пах свежим хлебом. Никогда не смеялся за стеной. Никогда не был молодым городом под синим небом.

Алина поняла.

Не сразу, не красивой вспышкой. Поняла так, как понимают приговор, который сам же когда-то произносил чужим голосом.

Помпеи.

До извержения оставался примерно месяц. Может быть, меньше.

— Каллиста! — прикрикнула женщина за спиной.

Алина моргнула и поняла, что стоит посреди прохода. Нужно было идти. Дышать. Смотреть под ноги. Не кричать.

Она двинулась за женщиной по коридору, мимо фрески с гранатовыми ветвями, мимо ниши с маленькой бронзовой фигуркой домашнего бога, мимо столика, где лежали таблички и свитки. На каждом шаге мир становился плотнее, страшнее, реальнее.

И чужое тело знало дорогу.

Это было самое пугающее. Ноги сами повернули к светлому проходу. Пальцы сами чуть приподняли край туники, чтобы не наступить на ткань. Голова сама опустилась при встрече с высоким мужчиной в белой тоге, который прошёл мимо, даже не взглянув на неё как на человека.

Алина почувствовала, как в груди поднимается злость. Не сейчас. Но злость помогла держаться.

Женщина остановилась у входа в перистиль.

— Постарайся сегодня не говорить слишком громко, — сказала она вполголоса. — Юный господин в плохом настроении.

Алина почти рассмеялась.

Юный господин в плохом настроении. Как прекрасно. Город обречён, она в чужом теле, её зовут Каллистой, она, кажется, рабыня, а где-то в саду молодой римлянин недоволен, что урок задержался.

Женщина подтолкнула её вперёд.

— Иди.

Перистиль был прекрасен: небольшой сад с низкими кустами, мраморная чаша с тонкими струйками воды, прохладная полосатая тень вдоль колонн. На стенах — птицы, виноград, театральные маски, юноша с лирой. Воздух пах лавром, пылью и нагретым камнем. Где-то звенела цикада.

У дальней колонны стоял он. Марк Аврелий Север. Алина поняла это сразу.

Ему был двадцать один — может, чуть больше, но в лице ещё оставалась та напряжённая юность, когда человек уже хочет власти над собой и миром, но ещё не умеет отличать гордость от силы. Высокий, стройный, в светлой тунике с аккуратной складкой у плеча. Тёмные волосы коротко подстрижены, кожа тронута солнцем, профиль почти как у статуи: прямой нос, твёрдая линия губ, подбородок человека, которого с детства учили не просить дважды.

Он держал в руке восковую табличку и смотрел на неё с явным раздражением. Не как на женщину. Не как на равную. Как на вещь, которая позволила себе задержаться.

И всё же самое страшное было не это.

Самое страшное случилось раньше, чем Алина успела подумать.

Тело Каллисты узнало его .

Не разумом. Не памятью слов. **Кожей.**

Там, где раньше был жёсткий браслет, запястье внезапно обожгло — будто невидимые пальцы снова сомкнулись вокруг него. Под рёбрами коротко, болезненно сжалось, а потом разлилось тяжёлое, сладкое тепло — низкое, глубокое, такое, от которого мурашки побежали по внутренней стороне бёдер и вверх по позвоночнику, острые, почти невыносимые. Дыхание стало неровным, будто кто-то провёл горячим дыханием прямо по обнажённой шее под тонкой тканью. Этот профиль, эта линия плеча под лёгкой туникой, эта складка у губ, когда он раздражён — всё вызывало в ней тихий, позорный, давно подавленный отклик. Будто годы,

которые Каллиста провела рядом с ним, молча глотая каждое слово и каждый слишком долгий взгляд, вдруг проснулись одним движением воздуха между ними.

Алина испугалась этой реакции почти сильнее, чем Везувия.

Нет. Это не её. Не может быть её. Она видела его впервые.

Значит, это помнила Каллиста.

Марк чуть нахмурился, заметив, наверное, как она изменилась в лице.

— Наконец, — сказал он. — Я уже думал, что сегодня риторика решила умереть раньше меня.

У Алины пересохло во рту.

Раньше меня.

Он даже не знал, насколько близко оказался к правде.

Она заставила себя пройти к низкому столу, на котором лежали таблички, стилус, раскрытый свиток. Тело Каллисты знало, где стоять: чуть сбоку, не слишком близко, не напротив, как равная собеседница. Так, чтобы учить — и всё равно помнить своё место.

Алина возненавидела это место с первого вдоха.

Марк заметил, что она не отвечает.

— Ты сегодня решила молчанием доказать превосходство греческой школы?

Она подняла глаза, и это было ошибкой, потому что вблизи он оказался ещё живее, чем с расстояния. Не красивой картинкой из учебника, не мраморным юношем с римского бюста. У него была тонкая тень усталости под глазами, маленькая складка между бровями, след чернил на большом пальце и слишком внимательный взгляд, который раздражение не могло скрыть полностью.

И снова тело Каллисты отозвалось первым — тихим, предательским теплом, которое разлилось от ключиц вниз, по животу, ещё ниже. Кожа на запястьях снова вспыхнула. Мурашки пробежали по внутренней стороне рук. Алина заставила себя стоять ровно. Не сейчас. Не так. Не чужим чувством.

Он был реальный. И он должен был умереть.

— Каллиста, — сказал он уже тише. — Ты слышишь меня?

Это имя снова неприятно кольнуло. Но теперь Алина понимала, почему оно так звучит в этом доме. Каллиста — не просто имя. Роль. Дорогая греческая рабыня, обученная говорить красиво, но не слишком свободно. Женщина, чьё знание нужно прятать, потому что оно полезно и неудобно одновременно. И, возможно, женщина, которая уже слишком давно смотрела на Марка так, как смотреть было нельзя.

Она не Каллиста. Она Алина. Но кто поверит рабыне, которая скажет, что она из будущего? И кто объяснит ей, где заканчивается чужая память и начинается её собственный страх?

— Слышу, — ответила она.

Марк прищурился.

— Голос у тебя странный.

— Жара.

— Все сегодня решили оправдываться жарой.

Она почти улыбнулась. Почти. Он протянул ей табличку.

— Разбери начало. Цицерон. Посмотрим, сохранилась ли у тебя хотя бы память, если почтение сегодня отсутствует.

Алина взяла табличку и снова ощутила удар реальности. Воск был тёплый, стилус оставил тонкие борозды. Латинские строки легли перед глазами не как мёртвый текст, а как живая речь, предназначенная не для экзамена, а для власти, суда, убеждения, спасения или приговора.

Она прочитала первые слова. Голова работала странно ясно, почти жестоко. Цицерон. Период. Антитеза. Ритмическая структура. Апелляция к слушателю. Всё знакомо. Всё её. Единственное, что осталось её собственным в этом невозможном теле.

Марк ждал. Солнце скользило по колоннам. Вдалеке Везувий молчал.

Алина положила табличку на стол.

— Он начинает не с доказательства, — сказала она. — С захвата внимания. Сначала заставляет слушателя почувствовать, что молчать уже невозможно, а потом предлагает свою речь как единственный способ назвать то, что все боятся признать.

Марк чуть заметно изменился. Раздражение не исчезло, но стало тоньше. Взгляд собрался.

— Продолжай.

Она провела пальцем над строкой, не касаясь воска.

— Здесь не просто украшение. Он строит ловушку. Если слушатель согласится с первой фразой, дальше ему будет трудно отступить. Хорошая речь не просит верить. Она делает неверие неудобным.

Марк смотрел на неё уже иначе.

— Это хорошо сказано, — произнёс он.

— Это правда.

— Обычно ты мягче с моими любимыми авторами.

— Обычно я, вероятно, не просыпаюсь утром в чужой жизни.

Слова вырвались прежде, чем она успела их остановить.

Марк замер. Алина тоже.

Между ними прошла тонкая, опасная тишина.

Он медленно положил свою табличку на стол.

— Что это значит?

Нужно было солгать. Сказать: дурной сон, болезнь, жара, головная боль. Что угодно. Но за его плечом, между двумя колоннами, виднелась синяя линия горы. И там, под этой красивой, спокойной формой, уже зрело то, что заберёт улицы, смех, хлеб, воду в фонтанах, фрески на стенах, людей, которые сейчас жаловались на жару и не знали, что живут внутри последнего месяца.

Алина не могла сказать «ничего».

Она посмотрела на Марка — молодого, гордого, раздражённого, живого, уже чем-то опасно знакомого этому телу — и вдруг почувствовала такую страшную нежность к этому обречённому миру, что её голос стал почти чужим.

— Этот город погибнет, — сказала она.

Он не сразу ответил. В перистиле звенела вода. Где-то за стеной кто-то рассмеялся.

Марк медленно выпрямился.

— Повтори.

Её сердце билось так громко, будто хотело выдать её всему дому.

— Через месяц Помпеи погибнут.

Он смотрел на неё не испуганно и не с презрением. Пока нет. Он пытался понять, какой перед ним вид безумия — дерзость, болезнь, пророчество или новая форма неповиновения.

— От чего? — спросил он.

Алина повернула голову к горе. Марк проследил за её взглядом.

— От Везувия, — сказала она.

Он молчал несколько секунд, потом резко, почти зло усмехнулся.

— Везувий — гора.

— Сейчас — да.

— Горы не убивают города за месяц, Каллиста.

Она сжала пальцы на краю стола.

— Эта убьёт.

— Ты понимаешь, что говоришь?

— Лучше, чем хочу.

— Кто внушил тебе это? Тирон? Кто-то из слуг? Или ты ходила к гадалкам, пока должна была готовить урок?

Она подняла глаза.

— Я не гадалка.

— Тогда кто?

Вопрос был простым и невозможным.

Она хотела сказать: я преподавательница. Я читала о твоём городе в книгах. Я видела ваши стены без крыш, ваши улицы без голосов, ваши тела под гипсом, ваши фрески за стеклом. Я знаю, что твоё имя, может быть, никогда не дойдёт до моего времени. Я знаю, что ты стоишь передо мной в последнем месяце своей жизни и злишься на опоздавший урок.

Вместо этого сказала:

— Та, кто знает, что будет, если вы не уедете.

Марк подошёл ближе .

Совсем немного — на полшага, не больше. Но воздух между ними мгновенно сгустился, стал густым, тяжёлым и горячим, будто сам город выдохнул прямо им в лица. Алина почувствовала, как по коже от ключиц вниз медленно, почти лениво, прокатилась волна мелкой, острой дрожи. Она прошла по груди, по животу и разлилась ниже — сладко, опасно, так, что пальцы ног непроизвольно сжались внутри сандалий.

Его запах был сильнее, чем любой удар: солнце, пропитавшееся в кожу, нагретый воск с табличек, лёгкий мускус мужского тела и терпкий лавр. Этот запах был живым. Он был близко. Слишком близко.

Он был выше неё. Один вдох — и она ощутила тепло, исходящее от его тела сквозь тонкую ткань туники. Жара Помпей вдруг показалась холодной по сравнению с этим. Её собственная кожа ответила предательски: под тонкой тканью на груди и ниже живота появилось горячее, тяжёлое покалывание, будто кто-то невидимый медленно проводил по ней горячим дыханием. Мурашки побежали по внутренней стороне бёдер и вверх по позвоночнику — острые, почти болезненные.

Дыхание перехватило. В горле запульсировало. Она не смела пошевелиться. Не смела даже моргнуть. Потому что малейшее движение — и расстояние между ними исчезнет. Потому что если она сделает хоть шаг назад или вперёд, этот густой, раскалённый воздух между ними лопнет, и тогда тогда она уже не знала, что случится с телом Каллисты.

Его взгляд опустился на секунду — на линию её шеи, на то место, где ткань туники слегка прилипла к влажной коже, — и вернулся обратно. В глазах было что-то тяжёлое, тёмное, голодное. Не раздражение. Не любопытство. Что-то гораздо более опасное.

Алина почувствовала, как под рёбрами снова сжалось — сладко и мучительно одновременно. Запястье, там, где когда-то был браслет, горело. Всё тело помнило. Помнило его голос, его близость, его взгляд. И теперь, когда он стоял так близко, что она чувствовала тепло его дыхания на своей коже, воспоминания Каллисты захлёстывали её волной за волной.

Она не могла отвести глаз. Не могла дышать ровно. Не могла заставить тело перестать отвечать.

А он смотрел. Просто смотрел. И этого было достаточно, чтобы по её коже снова пробежала длинная, дрожащая волна — от затылка до самых кончиков пальцев.

Между ними звенела тишина. И она была громче любого крика.

— Ты забылась, — сказал он тихо.

В этой фразе был Рим. Закон. Дом. Его власть. Её положение.

Алина почувствовала, как внутри Каллисты — или её собственной памяти? — шевельнулся старый, выученный страх. Опустить глаза. Отступить. Извиниться. Быть полезной. Быть ценной. Быть тихой.

Она не опустила глаза.

— Возможно.

Марк смотрел на неё долго. Она видела, как в нём борются привычка приказать и желание спросить. Он был воспитан в мире, где такая, как она, не должна была говорить с ним так. Но он был достаточно умён, чтобы понять: сегодняшняя Каллиста отличалась от вчерашней не капризом.

В ней что-то горело. И он это увидел.

— Если мой отец услышит такие слова, — сказал Марк, — тебя запрут.

— Пусть сначала уедет.

— Ты говоришь о невозможном.

— Я говорю о смерти.

Он резко вдохнул. Её собственная смелость испугала её.

Марк отвернулся, прошёл к краю перистиля и посмотрел на сад. Солнце легло на его лицо, на шею, на линию плеча под светлой тканью. Он был слишком настоящим, слишком молодым, слишком живым. Алина вдруг заметила маленькую деталь: как он сжал пальцы, будто удерживал злость не на ней, а на том, что не может сразу отбросить её слова.

Он снова повернулся.

— Доказательства.

Она моргнула.

— Что?

— Ты учишь меня, что хорошая речь должна делать неверие неудобным. Сделай.

В груди у Алины что-то дрогнуло. Не радость. Не надежда. Пока рано. Но он не выгнал её, не позвал слуг, не рассмеялся окончательно. Он потребовал доказательств.

Марк Аврелий Север, молодой римлянин, её ученик, её господин по законам этого мира, смотрел на неё уже не как на рабыню и не как на безумную.

Как на загадку. Как на вызов. Как на голос, который почему-то нельзя было сразу заставить замолчать.

Алина медленно взяла стилус. Рука всё ещё дрожала. Чужая рука. Её рука. Пальцы сомкнулись на гладком дереве. Стилус был тёплым — от его руки. Это тепло перешло ей в кожу медленно, густо, как расплавленный воск, и разлилось по ладони тяжёлой, сладкой волной. Алина подняла глаза и встретила его взгляд.

В нём уже не было только раздражения.

Там было что-то более тяжёлое, более мужское, более опасное.

Воздух между ними звенел. Она чувствовала, как по спине медленно стекает капля пота — не от жары Помпей, а от этого взгляда. От того, что он стоит так близко. От того, что тело Каллисты помнило его слишком хорошо. От того, что через месяц этого юноши, этого взгляда, этого густого, горячего воздуха между ними может не стать.

Она провела по воску первую линию.

— Тогда слушайте, Марк.

Он чуть поднял бровь. Видимо, вчерашняя Каллиста не называла его так — без «господин», без осторожного расстояния.

Но не поправил.

Алина указала стилусом на гору за колоннами.

— Начнём с того, что Везувий не просто гора.

Вода в мраморной чаше тихо дрогнула. Едва-едва. Марк этого не заметил. Алина заметила. На поверхности воды на один миг проступил серый налёт, похожий на пепел, — и исчез.

Алина (или Каллиста) сжала стилус крепче.

Первый урок начался.

Глава 2. Урок для господина

Марк не поверил ей.

Конечно, не поверил. Алина поняла это почти сразу — по тому, как он отвёл взгляд от Везувия, по короткой усмешке, по напряжённой складке у рта. Он был воспитан в мире, где гора была горой, рабыня — рабыней, а порядок вещей держался не на правде, а на том, кто имел право её произносить.

И всё же он не прогнал её. Это было первым чудом этого страшного, неправильного утра.

Он стоял у края перистиля, в полосе тени от колонны, и смотрел на восковую табличку, куда она уже успела провести стилусом несколько неровных линий. Алина чертила не схему из учебника — скорее пыталась зацепиться за собственное знание, пока оно не распалось под тяжестью невозможного. Гора. Город. Залив. Направление ветра. Камни, падающие с неба. Пепел, который сперва кажется просто пылью.

Марк молчал слишком долго. Вода в мраморной чаше больше не дрожала. Серый налёт исчез так быстро, что Алина почти могла убедить себя: показалось. Но пальцы на стилусе оставались холодными, несмотря на жару.

— Значит, — сказал он наконец медленно, будто пробовал слова на вкус, — ты хочешь, чтобы я поверил: гора за городом проснётся, небо станет чёрным, а Помпеи погибнут.

— Да.

— Через месяц.

— Примерно.

— Примерно?

— Я не знаю, какой сегодня день по вашему календарю, — сказала Алина и тут же поняла, как странно это прозвучало. — То есть мне нужно уточнить.

Он посмотрел на неё внимательнее.

— По нашему календарю?

Она сжала губы. Ошибка. Первая из многих.

Марк сделал шаг к столу. Не угрожающе, но и не мягко. Он всё ещё был юным господином в собственном доме, а она — рабыней, которая слишком много сказала и слишком прямо посмотрела ему в глаза. И, что было хуже, тело Каллисты отозвалось на его приближение раньше, чем Алина успела себя остановить.

Это было не мыслью. Это было коротким, предательским движением где-то под кожей — не грубым, не понятным до конца, а тревожно-сладким, от которого дыхание сбилось, а по спине медленно прошёл холодок. Будто само тело знало: вот так он подходит, когда раздражён, вот так падает тень от его плеча на таблички, вот так пахнет его кожа после утреннего масла, солнца и чернил — тепло, близко, почти осязаемо. Будто Каллиста уже много раз считала шаги между ним и собой. Уже много раз запрещала себе ждать, что он подойдёт ближе. И каждый раз тело помнило это приближение лучше, чем разум позволял.

Алина почти зло сжала стилус.

Нет. Это не её. Она знала Марка меньше часа. Но тело помнило его слишком хорошо.

— Каллиста, — произнёс он тише. — Ты понимаешь, что если сейчас войдёт отец и услышит хоть половину сказанного, тебя не станут расспрашивать так терпеливо?

Терпеливо. Алина почти рассмеялась бы, если бы не было так страшно.

— Я заметила.

— Тогда объясняй лучше.

— Вы не поверите.

— Я уже не верю. Но пока слушаю.

Он сказал это резко, почти холодно. Но именно пока удержало её на месте.

Алина перевела взгляд на Везувий. Отсюда, из богатого дома с фресками и садом, гора казалась частью пейзажа, как колонны, виноград и синее небо. Спокойная. Уверенная. Ничём не выдающая будущую смерть. Это делало всё хуже. Люди редко боятся того, что красиво молчит.

— Перед большим извержением бывают признаки, — начала она. — Земля дрожит. Иногда слабо, почти незаметно. Вода в колодцах меняется. Может уходить или мутнеть. Появляется запах серы. Животные ведут себя беспокойно. Иногда воздух становится тяжёлым, а подземный жар — ближе.

Марк склонил голову.

— Ты говоришь так, будто это не пророчество.

— Это не пророчество.

— А что?

Она задержала дыхание.

Наука, хотела сказать она. Геология. Вулканология. История катастроф. Свидетельства Плиния Младшего. Раскопки. Слои пепла. Всё, что в её мире уже было доказано, описано, пронумеровано, разложено по витринам и статьям.

Но в этом мире эти слова были бесполезны.

— Наблюдение, — сказала она наконец. — Причины и последствия.

— Причины и последствия, — повторил он. — Удобная вещь, когда хочешь звучать не как гадалка.

— А вы хотите, чтобы я звучала как гадалка?

— Я хочу понять, кто говорит моими словами из уст моей рабыни.

Слово моей упало между ними тяжело и горячо, как раскалённый металл.

Алина почувствовала, как тело Каллисты отозвалось мгновенно — резко, стыдно, почти болезненно. Не мыслью. Не согласием. Памятью. В этом теле слово моей было не просто оскорблением и не только знаком власти. Оно цепляло что-то глубже: давнее, запретное, выученное молчанием желание быть замеченной именно им — не как вещь, нет, но как та, на ком его взгляд задержится дольше, чем позволено.

Современная Алина должна была возмутиться сразу. Оттолкнуть это слово, возненавидеть его, расставить внутри себя ясные границы.

Но тело Каллисты не знало современных границ.

Оно помнило другое: как Марк склонялся над табличками, как его пальцы задерживались у края её руки, как он иногда произносил её имя чуть тише, чем нужно для урока. Помнило всё, чему прежняя Каллиста не давала голоса. И теперь одно собственническое слово подняло эту память, как жар под тонким слоем пепла.

Алина ужаснулась самой себе.

Нет. Это не я.

Она из другого времени. Она свободная женщина. Она не принадлежит никому.

Но тело дрожало. Не от желания подчиниться — от столкновения чужой памяти с её собственным разумом. От того, что в ней теперь жили две правды: одна знала цену слову моей, другая помнила, как долго Каллиста запрещала себе услышать в этом слове не только цепь, но и опасную близость.

Марк заметил перемену в её лице. Его взгляд потемнел.

— Ты всегда говорила хорошо.

— Но не слишком свободно? — вырвалось у неё хрипло.

Его взгляд стал ещё тяжелее.

— Осторожнее.

— Вот об этом я и говорю, Марк.

Он резко поднял брови. Во вчерашней жизни Каллиста, видимо, не называла его по имени так часто. Или так прямо. Или так, будто имя было не знаком его власти, а способом удержать его внимание.

— О чём?

— О голосе. О том, кому позволяют говорить. Если я выйду на форум и скажу, что город погибнет, меня назовут безумной. Если то же самое скажете вы, вас хотя бы выслушают.

— Меня тоже назовут безумным.

— Но не продадут за это.

Тишина стала острой. Где-то за колоннами щёлкнула цикада. Издалека донёсся женский смех, потом звон посуды. Дом жил своей обычной жизнью, совершенно не понимая, что в перистиле уже началось невозможное: рабыня говорила с господином так, как не должна была, а господин почему-то не остановил её сразу.

Марк отвёл взгляд первым. Это было маленькой победой.

— Ты изменилась, — сказал он.

Алина замерла.

— Сегодня?

— Нет. Не сегодня. Уже несколько дней ты была странной. Тише обычного, но — он искал слово, раздражённый собственной неуверенностью. — Не такой.

У неё похолодело внутри.

Значит, настоящая Каллиста тоже менялась до её появления. Может быть, уже слышала те же голоса, видела странные знаки, боялась того, чему не знала имени. Или Марк просто замечал то, чего сам ещё не понимал.

— Какой я была раньше? — спросила она осторожно.

Марк посмотрел на неё так, будто вопрос был неправильным.

— Ты знаешь.

— Допустим, хочу услышать от вас.

Он усмехнулся, но уже без прежней злости.

— Вот это точно не похоже на прежнюю Каллисту.

Имя легло между ними почти как третье присутствие. Каллиста. Женщина, чьё тело теперь дышало вместо Алины. Женщина, которая знала эти коридоры, эти таблички, этот голос. Женщина, чья память всё ещё иногда вспыхивала под кожей.

Марк подошёл к столу ближе и взял табличку, которую она исписала. Его пальцы были сильными, чистыми, с тонким следом чернил у ногтя. Алина неожиданно вспомнила — не головой, телом, — как эти пальцы однажды задержались над её рукой, когда он не мог подобрать слово. Как Каллиста тогда убрала ладонь слишком быстро. Как он заметил. Как оба сделали вид, что ничего не случилось.

Но тело помнило это ничего лучше любого признания. Оно помнило тишину после случайного касания, помнило слишком долгий взгляд над строками Демосфена, помнило, как Марк однажды засмеялся тише обычного и Каллиста потом весь вечер не могла смотреть на свои пальцы. Не потому, что произошло что-то непозволительное. А потому, что ничего не произошло — и именно это мучило сильнее.

Алина резко вдохнула. Марк поднял глаза.

— Что?

— Ничего.

Ложь прозвучала плохо. Он это понял.

— Ты дрожишь.

— Я проснулась в странном месте.

— В своём cubiculum?

— Я пытаюсь понять, что происходит.

— И что поняла?

— Что мне нельзя ошибаться.

Марк на мгновение опустил взгляд к её пальцам, сжатым на краю таблички.

— А ты уже ошибаешься, Каллиста.

— В чём?

— Говоришь так, будто тебе нечего терять.

Его губы едва заметно дрогнули. Почти улыбка. Не настоящая ещё, но уже живая. Тело Каллисты снова отозвалось. Не резко. Тише, болезненнее, как память о прикосновении, которого никогда не было до конца. Где-то внутри сохранилось знание: он мог улыбаться редко. Значит, каждая такая почти-улыбка была опасной. Её нельзя было ждать. Нельзя было беречь. Нельзя было вспоминать ночью.

Алина отвернулась к табличкам.

Нет. Это не моё.

Но чем чаще она повторяла это, тем слабее звучала защита.

— Покажи, — сказал Марк.

— Что?

— Доказательства. Ты начала — продолжай.

Он сел за низкий стол и указал ей на место напротив. Не сбоку. Напротив. Алина задержалась на мгновение.

Для неё это был жест почти простой: садись, говори. Для Каллисты — нарушение порядка. Тело знало, что обычно она стояла или садилась чуть ниже, у края. Не так. Не прямо перед ним.

И ещё тело знало, что прежняя Каллиста иногда мечтала именно об этом: сесть напротив него, не ниже, не в стороне, не как вещь при обучении, а как человек, чьи слова имеют вес. Сидеть так близко, чтобы видеть, как меняются его глаза, когда он думает. Так близко, чтобы случайно коснуться пальцами края одной таблички и сразу отдёрнуть руку.

— Что? — спросил он, заметив её паузу.

— Ничего.

— Ты сегодня слишком часто говоришь ничего.

— А вы слишком часто делаете вид, что не замечаете важного.

Марк усмехнулся.

— Садись, Каллиста.

В голосе был приказ, но под ним — любопытство. Она села. Ткань туники скользнула по коленям. Солнце упало на её руки, на след от браслета. Марк заметил этот след. Не впервые, наверное. Но сегодня его взгляд задержался дольше.

Алина убрала руку под край таблички.

— Не смотрите так.

— Как?

— Как будто только что вспомнили, что я рабыня.

Он резко поднял глаза.

— Я не забывал.

— Вот именно.

Молчание. Слишком плотное, слишком взрослое для утреннего урока риторики.

Марк положил табличку между ними.

— Начинай.

Алина заставила себя сосредоточиться. Если думать о вулкане, было страшно. Если думать о Марке, было ещё страшнее. Значит, надо думать о фактах.

— Земля уже дрожала? — спросила она. — Не сильно. Так, что посуда звенела, вода шла кругами, стены чуть отдавали ночью?

Он нахмурился.

— Здесь часто дрожит земля.

— Часто — не значит безопасно. После землетрясения семнадцать лет назад многие дома ещё не восстановлены до конца.

Марк замер.

— Ты говоришь о землетрясении при Нероне?

— Да.

— Ты тогда была ребёнком.

— Я знаю об этом.

— Все знают.

— Не так.

Он прищурился.

— Продолжай.

— Колодцы. Были жалобы, что вода стала мутной? Или ушла ниже обычного?

Марк хотел ответить сразу, но остановился.

— У соседа отца, Луция Флакка, пересох источник на вилле. Он ругался вчера в термах. Сказал, что рабы ленивы и плохо чистят канал.

— Не рабы.

— Ты не можешь знать.

— Могу предположить.

— Удобное слово.

— Лучше, чем пророчество.

Он посмотрел на неё почти с уважением. Почти.

Алина продолжила:

— Запах. В некоторых местах может пахнуть серой. Тухлыми яйцами. Горьким дымом из земли. Не всегда, не везде.

Марк медленно отложил стилус.

— У старой дороги к Геркулануму вчера жаловались на запах.

— Кто?

— Возница. Я не слушал.

— А теперь слушайте.

Он не ответил, но взгляд стал острее.

И в этот момент рыжая птица на фреске за плечом Марка вдруг стала ярче. Не вспыхнула — нет. Не настолько, чтобы можно было закричать или позвать кого-то. Просто краска на её крыле на мгновение сделалась глубже, гуще, будто под слоем пигмента прошёл слабый жар.

— Что? — спросил Марк.

Она смотрела не на него, а на стену.

— Ничего.

— Ты снова говоришь ничего, когда видишь что-то.

Алина медленно подняла руку, но не коснулась фрески. После бронзовой таблички она уже знала: иногда древние вещи отвечают не так, как от них ожидаешь.

— Рыжий пигмент, — сказала она осторожно. — Он изменился.

Марк обернулся к стене. Птица снова была обычной: яркой, красивой, неподвижной.

— Краска?

— Да.

Он посмотрел на неё так, будто снова выбирал между раздражением и интересом.

— Каллиста, краска не отвечает на разговоры.

— Я тоже так думала.

— До сегодняшнего утра?

Она не сразу ответила.

— До бронзы.

Он заметил паузу.

— Какой бронзы?

Алина отвела взгляд к табличке.

— Не сейчас.

Марк хотел спросить ещё, но не стал. И это было новым: раньше он, вероятно, потребовал бы ответа сразу, как потребовал бы подать воду или раскрыть свиток. Теперь он смотрел на неё и, кажется, впервые понимал, что некоторые двери открываются не приказом.

Алина потянулась к табличке, чтобы записать признаки, и в тот же миг Марк тоже взял стилус.

Их пальцы соприкоснулись. Коротко. Почти случайно. Но для тела Каллисты это было не коротко. Тепло его кожи ударило в её пальцы мгновенно, как искра. От кончиков пальцев вверх по руке прошла дрожь, такая ясная, что дыхание оборвалось. Не потому, что прикосновение было грубым или долгим. Как раз наоборот: оно было слишком малым для того, что подняло в ней. Память Каллисты вспыхнула мгновенно — все прежние почти-касания, все остановленные движения, все вечера, когда ничего не происходило и именно поэтому невозможно было успокоиться.

Она отдёрнула руку первой — слишком резко, слишком поздно.

Марк застыл. Его пальцы всё ещё держали стилус, но взгляд был прикован к тому месту, где только что соприкоснулась их кожа. Он тоже почувствовал. Не мог не почувствовать. В перистиле вдруг стало так тихо, что слышно было, как капает вода в мраморной чаше. Даже воздух между ними изменился — стал гуще, теплее, будто после далёкой молнии.

Алина вцепилась в край стола. Сердце колотилось слишком быстро. Она не смела поднять глаза. Не смела дышать ровно. Потому что если сейчас посмотрит на него, он увидит всё: испуг, стыд, чужую память, её собственное растерянное желание понять, где заканчивается Каллиста и начинается она.

Марк медленно опустил стилус. Его голос, когда он заговорил, был ниже обычного:

— Каллиста

Имя прозвучало почти как прикосновение. Алина сжала край стола.

— Пишите.

Он всё ещё смотрел на неё.

— Ты избегаешь меня.

— Я сижу напротив вас.

— Именно.

Она подняла глаза. Ошибка. Снова. Потому что теперь он был близко. Не неприлично близко, нет. Между ними лежала табличка, стол, весь римский закон, весь дом Аврелиев Северов, вся невозможность мира. Но этого вдруг оказалось мало. Воздух между ними стал густым, горячим. Она чувствовала, как его дыхание слегка касается её кожи. Марк смотрел на неё так, будто пытался понять, что изменилось не в её словах, а в самом воздухе вокруг неё.

Вчерашняя Каллиста, наверное, опустила бы глаза. Сегодняшняя Алина не могла. А тело между помнило обеих.

— Я думаю о городе, — сказала она.

— Только о городе?

Сердце ударило слишком резко. Он сам, кажется, пожалел о вопросе в ту же секунду. Лицо стало жёстче, взгляд ушёл в сторону.

— Забудь.

— Конечно, — сказала Алина тихо. — Я не могу позволить себе помнить лишнее.

Он снова посмотрел на неё.

— Что это значит?

— Что я не знаю, где заканчивается то, что знала Каллиста.

Марк побледнел едва заметно.

— Ты говоришь о себе так, будто это не ты.

Алина замолчала. Вот она. Грань. Если сделать шаг — назад уже не вернуться. Но если не сделать, он решит, что она просто больна, сломана, одержима. Хотя, возможно, это было не так далеко от того, что случилось.

За их спинами послышались шаги. Оба повернулись.

В перистиль вошёл мужчина лет сорока пяти или пятидесяти, высокий, плотный, с лицом человека, который давно привык, что в его доме всё имеет цену и место. Белая тога лежала на плече безупречно. На пальце — перстень. Взгляд — холодный, оценивающий.

Марк поднялся.

— Отец.

Алина тоже встала, чуть позже, и тело Каллисты само опустило взгляд. Луций Аврелий Север — она ещё не знала его имени, но сразу поняла, что это отец Марка, — посмотрел сначала на сына, потом на неё.

— Ты задержалась.

Слова были адресованы Алине, но звучали так, будто он говорил о вещи, которую принесли не вовремя.

— Прости, господин, — произнесла она.

Фраза вышла автоматически. Тело Каллисты знало её слишком хорошо. Алина ненавидела каждую букву.

Марк заметил, как она сжала пальцы. Его взгляд дрогнул, но он промолчал.

Отец подошёл к столу, взял табличку с её неровными линиями.

— Что это?

— Урок, — ответил Марк слишком быстро.

— О Везувии?

Пауза. Очень короткая. Но опасная. Отец перевёл взгляд на Алину.

— Мне сказали, Каллиста снова говорила странности.

Снова. Значит, не впервые. Алина почувствовала, как сердце ухнуло вниз.

Марк тоже услышал это слово.

— Она устала, — сказал он. — Жара.

— В этом доме слишком часто стали объяснять жарой то, что раньше называли нарушением дисциплины.

Луций положил табличку на стол.

— Каллиста.

Она подняла глаза не сразу.

— Да, господин.

— Ты дорога. Не только потому, что умеешь читать греческих авторов и поправлять моего сына там, где он позволяет себе лениться. Дорогая вещь требует ухода. Но если вещь начинает пугать домочадцев, её убирают подальше от глаз.

Марк резко повернул голову к отцу.

— Она не вещь.

Тишина обрушилась мгновенно. Алина перестала дышать. Луций медленно посмотрел на сына.

— Что ты сказал?

Марк, кажется, сам не ожидал этих слов. Но не отступил.

— Я сказал, что она полезна дому. И мне. Если её запереть, это повредит моим занятиям.

Это была поправка. Осторожная. Почти трусливая после первой фразы. Но первая фраза уже прозвучала.

Она не вещь.

Алина почувствовала это кожей. Не потому, что он стал вдруг идеальным, свободным от своего времени. Нет. Он тут же спрятался за пользой, за занятиями, за тем, что отец мог принять. Но на одну секунду из него вырвалось не римское удобное право, а правда. Неловкая. Недозволенная. Опасная.

И тело Каллисты отозвалось на эту фразу так сильно, что Алине стало больно. Не как от красивого признания. Как от того, чего прежняя Каллиста, возможно, ждала годами и не позволяла себе даже назвать. Быть не вещью. Быть увиденной. Услышать это из его уст и тут же понять: он сам испугался сказанного.

Луций смотрел на сына долго.

— Твои занятия важны. Поэтому Каллиста останется здесь. Но её припадки не должны выходить за стены дома. Никаких разговоров с соседями, с клиентами, с гостями. Никаких гаданий, пророчеств и истерик на кухне. Если рабы начнут шептаться, я продам не только язык, который начал говорить лишнее, но и уши, которые слушали.

Алина похолодела. Марк сжал челюсть.

— Отец

— Ты хотел риторику, Марк? Вот тебе первая взрослая истина. Слово — это не украшение. Это опасность. Особенно из неподходящих уст.

Он повернулся к Алине.

— Ты будешь учить моего сына говорить. Не будешь учить дом бояться. Понятно?

Алина смотрела на пол. Каменные плиты. Тёплые. Реальные. Ненавистные.

— Понятно, господин.

Луций ушёл так же спокойно, как вошёл, оставив после себя запах дорогого масла, власти и угрозы.

Марк долго не двигался. Потом медленно выдохнул.

— Ты слышала.

— Сложно было не услышать.

— Теперь понимаешь, почему я сказал тебе молчать?

Она подняла на него глаза.

— Нет. Теперь я понимаю, почему мне нельзя молчать.

Он резко обернулся.

— Ты безумна?

— Возможно. Но если ваш отец прав в одном, так это в том, что слово опасно. Значит, им можно что-то изменить.

— Тебя могут продать.

— А город может умереть.

— Ты говоришь так, будто эти вещи равны.

— Нет, — сказала Алина. — Я говорю так, будто моя жизнь тоже входит в число тех, которые стоит спасать.

Он замолчал.

Эти слова будто попали не туда, куда она целилась, а глубже. Марк смотрел на неё так, будто впервые увидел не пророчицу, не странную Каллисту, не рабыню с опасным языком, а женщину, которая имела наглость считать собственную жизнь своей.

Это было почти интимнее прикосновения.

— Продолжим урок?

— После всего?

— Именно после всего.

Он медленно сел. На этот раз сам придвинул к ней табличку.

— Хорошо.

Она взяла стилус, но рука всё ещё дрожала. Марк заметил и, не касаясь её, положил рядом свою ладонь — достаточно близко, чтобы она почувствовала тепло, но не настолько, чтобы это стало нарушением.

Это было хуже прикосновения. Потому что он впервые оставил ей выбор.

Алина посмотрела на его руку, потом на него. Воздух между их ладонями звенел. Она чувствовала исходящее от него тепло так отчётливо, будто он уже коснулся её.

— Риторика, — сказала она, стараясь, чтобы голос не сорвался, — это не искусство говорить красиво.

— А что?

— Власть над теми, кто слушает. И ответственность перед теми, кто не может говорить сам.

Марк молчал. Она продолжила:

— Если вы хотите, чтобы вам поверили, не начинайте с ужаса. Люди отвернутся. Начните с того, что они уже знают. С дрожи земли. С пересохших источников. С запаха серы. С того, что их собственные глаза видели, но разум решил не связывать.

Он взял второй стилус.

— И потом?

— Потом заставьте их сделать вывод самим.

— Как?

— Вопросами.

Он усмехнулся.

— Ты хочешь научить меня не говорить, а спрашивать?

— Это сложнее.

— Для кого?

— Для мужчин, которые привыкли приказывать.

Марк посмотрел на неё. Взгляд был долгим. Слишком долгим. В нём мелькнули раздражение, интерес и что-то ещё — опасное, тёплое, почти неуместное среди слов о смерти города. Воздух между ними стал ещё гуще.

— Ты сегодня очень смела.

— Нет, — сказала Алина. — Я очень напугана.

И это оказалось правдой.

Марк не ответил сразу. Потом тихо произнёс:

— Хорошая речь начинается с правды, которую говорящий боится произнести.

Она удивлённо посмотрела на него.

— Это уже лучше.

— Значит, урок продолжается?

— Да.

— Тогда научи меня говорить так, чтобы поверили тебе.

Алина замерла. Вот оно. Первый союз. Не доверие ещё. Не вера. Не спасение. Но уже не одиночество.

За колоннами Везувий стоял спокойно, как бог, который ещё не открыл глаза. В мраморной чаше снова дрогнула вода. На этот раз Марк заметил: его взгляд быстро скользнул к поверхности, потом к Алине.

А рыжая птица на фреске за его плечом уже не меняла цвета. Она просто казалась слишком живой для краски.

Алина ничего не сказала. Он тоже.

Но между ними, над восковой табличкой, где ещё не высохли свежие линии, впервые возникло нечто. Общее дело. И тонкое, запретное тепло, которому пока нельзя было дать имя.

Да, ты права. Я уплотнила главу: меньше одиночных строк, меньше повторов вроде это было опасно / это было новым, меньше зацикливания на телесной реакции, больше связных абзацев и плавного внутреннего движения. Сюжет, Каллиста, Древний Огонь и сцена с Марком сохранены. Основа — твоя глава 3.

Глава 3. Дом, где ум держали взаперти

К вечеру Алина поняла главное: в этом доме у неё были обязанности, голос и почти никакой жизни. Её не держали в цепях, не запирали на засов после каждого шага, не били за поднятый взгляд, хотя тело Каллисты всё равно напрягалось всякий раз, когда рядом проходил кто-то из свободных. Всё было хуже именно потому, что выглядело почти терпимо. Ей давали воду, еду, чистую ткань, место для сна. Её не гнали на кухню таскать тяжёлые амфоры и не посылали стирать бельё под раскалённым солнцем. Её ценили. Но ценность не была свободой.

Алина поняла это по мелочам. Утром она захотела выйти к воротам — просто увидеть улицу, понять расположение дома, оценить расстояние до форума. Не бежать, не устраивать безумную сцену, только посмотреть, где находится дверь в город, который она должна была предупредить. Фабия перегородила ей проход так буднично, будто остановила не человека, а вещь, которую несут не туда.

— Куда?

— В город.

Фабия даже не удивилась. Только посмотрела устало, как смотрят на ребёнка, который лезет рукой в огонь и ещё ждёт объяснений.

— Без приказа? Каллиста, ты сегодня совсем потеряла разум?

Имя женщины Алина узнала позже. Фабия. Старшая рабыня в доме Аврелиев: уверенная, хозяйственная, строгая с теми, кто ниже, осторожная с теми, кто выше. В её движениях была власть, но эта власть тоже кому-то принадлежала. Фабия могла распоряжаться тканями, посудой, младшими слугами, чужими ошибками, но не собой.

— Мне нужно на форум, — сказала Алина.

Фабия закрыла лицо ладонью.

— На форум.

— Да.

— И что ты там собираешься делать? Встать у ростр и объявить, что гора решила съесть город?

Алина промолчала. Фабия посмотрела на неё внимательнее.

— Ясно. Именно это.

— Люди должны знать.

— Люди должны работать, есть, платить долги, ругаться с соседями и молиться богам, когда им страшно. А не слушать рабыню, которая второй день говорит так, будто подземные тени лижут ей пятки.

— Если я права

— Если ты права, — перебила Фабия тише, и именно эта тишина оказалась страшнее насмешки, — тебе тем более нельзя орать об этом на улице.

Алина впервые за всё утро почувствовала, что Фабия не просто останавливает её. Она защищает. Грубо, сердито, почти без сочувствия, но защищает так, как умеет человек, всю жизнь проживший внутри чужих правил.

— Вы мне верите?

Фабия посмотрела через плечо, убедилась, что рядом никого нет, и шагнула ближе.

— Я верю, что в доме стало неспокойно. Верю, что вода ночью дрожала в кувшинах, хотя земля вроде бы молчала. Верю, что у поварихи треснула чашка сама по себе. Верю, что ты вчера смотрела на Везувий так, будто уже видела, как он убивает. Но я также верю, что если Луций Аврелий Север решит продать тебя завтра, никакая правда тебе не поможет.

Алина сжала пальцы. Вот оно: простое, римское, страшное. Правда могла быть правдой, но её тело всё равно оставалось чьей-то собственностью.

— Значит, мне просто сидеть и ждать?

— Нет. Тебе думать. Для этого тебя и купили.

Фраза прозвучала грубо, но не зло. Фабия тут же отвернулась, будто пожалела, что сказала слишком много, и крикнула кому-то в глубину коридора, чтобы несли чистые покрывала в перистиль. Алина осталась стоять у прохода, за которым был город.

Слово купили весь день возвращалось к ней, тянуло и болело, как заноза под ногтём. Купили не Алину — Каллисту. Женщину, чьё тело теперь двигалось, дышало, знало повороты коридоров и вздрагивало от имени Марка. Каллисту купили не только за красоту, не за послушные руки, не за умение молчать у ложа госпожи. Её купили дорого, и в доме говорили об этом так, будто речь шла о редкой вещи: хорошей библиотеке, греческой статуе, серебряной чаше.

Об этом Алина узнала из обрывков разговоров. На кухне двое рабов спорили, сколько за Каллисту заплатили на рынке в Путеолах. Один утверждал, что столько же, сколько за трёх сильных носильщиков. Другой фыркнул и сказал, что за руки столько не дают, зато за греческий язык, красивое письмо и память на целые речи — дают. Потом оба замолчали, заметив её, и сделали вид, что обсуждали масло.

В библиотечной комнате старый писец Тирон выдал ей свитки без лишних вопросов. Он был сухой, сутулый, с глазами человека, который слишком много видел и слишком мало говорил вслух. Алина сразу почувствовала: этот человек не был добрым в простом смысле, но он умел замечать, а в доме Аврелиев это уже было почти опасной формой доброты.

Когда она задержала руку на тексте Платона, Тирон заметил:

— Это ты уже читала.

— Я знаю.

— Ты говоришь так, будто удивлена.

Алина осторожно свернула край свитка.

— Иногда полезно удивляться знакомому.

Тирон посмотрел на неё поверх таблички. В его взгляде не было любопытства слуги, который ловит сплетню. Скорее осторожная тревога человека, увидевшего, что привычная трещина в стене стала шире.

— Прежняя Каллиста удивлялась только внутренне.

Снова это: прежняя Каллиста. Дом уже начинал понимать, что с ней что-то случилось, но ещё не решил, как это назвать. Болезнь? Безумие? Пророчество? Неповиновение?

— А какая она была? — спросила Алина.

Тирон долго молчал. Потом макнул тростниковое перо в чернила.

— Умная.

— Это я слышала.

— Нет. Не так, как обычно говорят про умную рабыню. Не быстро запоминает поручения и не хорошо читает вслух. Каллиста умела разбирать речь так, будто видела, где у человека спрятан страх. Поэтому её и держали здесь.

— Скрывали, — поправила Алина.

Перо Тирона замерло.

— Ты стала выбирать опасные слова.

— Я стала замечать очевидное.

— Очевидное — самая опасная вещь в римском доме. Все знают, но никто не говорит.

Алина посмотрела на полки. Свитки лежали аккуратно, в тени, перевязанные шнурами. Знание здесь хранили бережно. Просто женщину, которая умела им пользоваться, хранили примерно так же — как дорогую, неудобную вещь, которую нельзя показывать каждому гостю.

— Почему скрывали её занятия с Марком?

Тирон усмехнулся одним уголком рта.

— Потому что юноша из рода Аврелиев может учиться у грека. Может учиться у старого ритора с плохими зубами и большим самомнением. Может учиться у раба-писца, если потом никто не вспомнит его имени. Но признать, что его речь оттачивает молодая женщина, да ещё рабыня

— Стыдно?

— Неприлично.

— Это разные слова.

— В Риме часто нет.

Алина невольно улыбнулась. Тирон заметил, но ничего не сказал. Ей показалось, что он тоже почти улыбнулся, только сделал это так глубоко внутри, что лицо не успело измениться.

К вечеру её мир стал яснее и теснее. Она могла ходить по дому, но только там, где её присутствие имело смысл. В библиотеку — да. В перистиль — если Марк занимался. В комнаты женщин — если её звали читать или писать письмо. К воротам — нет. На форум — смешно даже спрашивать. К соседям — только с поручением. К свободным гостям — молчать, если не спрашивают. Вслух о гибели города — никогда.

Знание будущего оказалось почти бесполезным без права говорить. Она могла назвать дату, объяснить признаки, описать опасность пемзы, пепла и горячих потоков так точно, что у любого современного слушателя похолодела бы спина. Но здесь у неё не было даже собственного имени. Её Каллиста принадлежало дому, её тело — дому, её голос — тоже дому. Если она говорила слишком громко, это становилось не предупреждением, а повреждением имущества. И всё же голос был единственным, что у неё оставалось.

Когда солнце опустилось ниже и тени колонн вытянулись по полу, Алина сидела в маленькой библиотечной комнате и пыталась разобрать записи Каллисты. На тонкой дощечке, спрятанной между свитками, были наброски упражнений для Марка: вступления к судебным речам, исправленные обороты, греческие цитаты. Почерк был ровный, красивый, сдержанный. В этой сдержанности было почти больше боли, чем в признании.

Он торопится к выводу, когда боится вопроса.

Не давать ему побеждать слишком легко.

«Сегодня он сказал: свобода — это владеть собой. Хотела спросить: а если собой владеешь не ты?»

Алина провела пальцем над последней строкой, не касаясь воска. Вот она. Настоящая Каллиста. Не пустое тело, не удобная оболочка для попаданки, не историческая декорация. Женщина, которая думала, видела, чувствовала и умела молчать так, что молчание становилось второй кожей.

Ниже, почти у самого края дощечки, были ещё строки. Они отличались от остальных: менее ровные, будто Каллиста писала их ночью или в спешке.

Фреска у атрия теплеет, когда я говорю о горе.

Вода слушает раньше людей.

Пепел не падает. Он отвечает.

Алина долго смотрела на эти слова. Значит, не только она. Каллиста тоже замечала. Тоже пыталась понять. Тоже, возможно, сначала списывала всё на жару, усталость, дурные сны, страх перед горой или перед собственным разумом. А потом знаки стали слишком точными, чтобы от них отмахнуться.

Пепел не падает. Он отвечает.

В этих словах было что-то страшнее пророчества. Пророчество приходит извне, как приговор. А ответ значит, что кто-то — или что-то — слышит. И если пепел отвечал Каллисте, значит, он мог ответить и Алине. Вопрос был только в том, что именно Древний Огонь хотел услышать.

Алина закрыла глаза. На мгновение ей показалось, что она чувствует под пальцами не гладкий воск, а тёплую бронзу музейной таблички. Тот первый жар. Запах серы. Слова, которых не должно было быть.

Vox aperit cinerem.

Голос открывает пепел.

— Ты снова выглядишь так, будто собираешься объявить смерть всему дому.

Она обернулась.

Марк стоял у входа, держа под мышкой несколько табличек и свёрнутый свиток. На нём была другая туника — светлая, мягкая, с тёмной каймой у плеча. Волосы после дневной жары лежали чуть небрежнее, чем утром. На виске — едва заметная влажная прядь. Он выглядел не так официально, не так собранно, и именно это делало его опаснее для её спокойствия.

Тело Каллисты узнало его раньше, чем Алина успела подготовиться. Не бурно, не так, чтобы она потеряла власть над собой. Тоньше. Будто внутри открылась дверь, которую прежняя Каллиста годами держала ладонью. Это тело знало вечерний Марков голос, его усталость после занятий, его редкие почти-улыбки, его привычку останавливаться на пороге чуть дольше, чем нужно. Оно помнило не случившееся, но слишком долго ожидаемое.

Алина заставила себя не отвести взгляд сразу. Если она и дальше будет прятаться от каждой реакции Каллисты, то никогда не поймёт, где заканчивается чужая память и начинается её собственный страх.

— Вы входите без стука?

— В своём доме — да.

— Удобно.

— Ты снова начинаешь с нападения.

— А вы снова начинаете с напоминания, кому всё принадлежит.

Марк прошёл внутрь, но остановился не слишком близко. Это было новое. Утром он приближался как человек, привыкший к праву. Сейчас будто помнил её слова. Или не слова даже — тот короткий миг, когда она сказала, что её жизнь тоже стоит спасать.

— Я принёс тексты.

— Для урока?

— Для тебя.

Она подняла глаза. Он положил свиток на стол.

— Ты хотела уточнить день. Здесь записи о последних праздниках и письма отца из Нукерии. Там даты.

Алина замолчала. Это была помощь. Не громкая, не признанная, не такая, за которую можно было бы благодарить слишком открыто. Но помощь — настоящая, рискованная ровно настолько, чтобы он мог ещё сделать вид, будто просто заботится об уроках.

— Зачем?

— Ты сказала, что тебе нужно уточнить.

— Вы мне верите?

— Нет.

Она невольно усмехнулась.

— Честно.

— Я верю, что ты знаешь больше, чем должна. И что ты испугана не как лгунья.

— Как испугана лгунья?

— Лгунья смотрит на того, кого хочет убедить. Ты всё время смотришь на гору.

Алина не нашла ответа. Иногда Марк видел слишком точно. И это было опасно не меньше, чем его слепота.

Он сел напротив. Между ними легли таблички. Уже знакомая граница: воск, дерево, текст, то, о чём можно говорить вместо всего остального.

— Что это? — спросил он, заметив дощечку с записями.

Алина слишком быстро накрыла её рукой.

— Старые заметки.

— Мои?

— Каллисты.

Его взгляд изменился. Не резко. Но достаточно, чтобы она поняла: ему больно слышать, как она отделяет себя от женщины, которую он знал.

— Ты опять говоришь о себе в третьем лице.

— Возможно, мне так легче думать.

— О чём?

О том, что я в чужом теле. О том, что эта женщина, возможно, хотела тебя до меня. О том, что её рука помнит твои жесты, а моя голова всё ещё пытается сопротивляться. О том, что под этим домом просыпается огонь, а я не знаю, чьим голосом должна говорить.

— О тексте, — сказала Алина.

Марк не поверил, но не стал давить. Это тоже было новым. Ещё вчера он потребовал бы ответ сразу, потому что привык к ответам. Сегодня он впервые пытался ждать.

Они работали почти час. Сначала над датами: Алина пыталась сопоставить римский календарь, местные праздники, упоминания в письмах, обрывки бытовых событий. Получалось плохо, но постепенно складывалось: до конца августа оставалось меньше месяца. Может быть, чуть больше трёх недель. Может быть, именно столько, сколько нужно для безумной попытки спасти хотя бы часть людей. Эта мысль не давала надежды. Она давала направление.

Потом Марк развернул свою речь.

— Я попробовал начать, как ты сказала. Не с ужаса.

— Читайте.

Он нахмурился.

— Вслух?

— Речь существует только вслух.

— Ты любишь отдавать приказы.

— Я люблю, когда слова проверяют дыханием.

Марк посмотрел на неё. Взгляд зацепился за её губы — на мгновение, слишком короткое, чтобы обвинить, но достаточно, чтобы тишина между ними изменилась. Алина почувствовала не прежний резкий всплеск чужой памяти, а более сложное: Каллиста помнила, Алина понимала, и обе не знали, как с этим быть.

Он начал читать. Голос у него был хороший: молодой, сильный, с ещё не до конца укрощённым жаром. Он красиво ставил ударения, умел держать паузу, не боялся тишины между фразами. Но в речи всё ещё было слишком много желания понравиться самому себе. Слишком много гладкости. Слишком мало боли.

Алина слушала и постепенно забывала, что он господин, что она рабыня, что за стенами шумит город, который скоро начнёт задыхаться под пеплом. Она слышала только речь — и то, где человек прячется внутри неё.

— Остановитесь, — сказала она.

Марк умолк.

— Здесь вы врёте.

Он медленно поднял брови.

— Смело.

— Красиво, но пусто. Вы говорите: Мы все знаем тревогу земли. Нет. Вы не знаете. Вы хотите казаться человеком, который разделяет тревогу с другими, но на самом деле стоите над ними и объясняете им их страх.

Он не ответил сразу. В прежнем Марке, вероятно, уже вспыхнуло бы раздражение. Сейчас оно тоже появилось, но не вышло наружу первым. Он посмотрел на табличку так, будто впервые увидел не свои красивые фразы, а их бесполезность.

— И как надо?

— Не мы знаем. Спросите: Разве вы не слышали ночью, как стены отвечают земле? Пусть каждый вспомнит сам. Не ведите их к страху за руку. Заставьте их узнать его в себе.

Марк снова посмотрел на текст.

— Это сильнее.

— Да.

— И жестче.

— Правда редко бывает любезной.

Он почти улыбнулся, но улыбка погасла на слове, которое оба не произнесли: катастрофа.

Алина потянулась к его табличке.

— Дайте.

Он подал. Их пальцы на этот раз не соприкоснулись. Но то, что оба заметили осторожность, оказалось почти таким же интимным, как касание. Не потому, что они хотели осторожности, а потому, что начали понимать её цену.

Она начала править: быстро, уверенно, вычёркивая лишнее, переставляя фразы, заставляя речь становиться острее. Марк встал, подошёл к ней сбоку, чтобы видеть строки, и оказался слишком близко.

Алина поняла это не сразу. Сначала — по тени, упавшей на табличку. Потом — по теплу возле плеча. Потом — по тому, как тело Каллисты замерло, будто уже знало эту сцену: он наклоняется посмотреть исправление, она делает вид, что занята текстом, волосы касаются его руки, и оба понимают, что это случайность, которую можно было бы предотвратить.

Её прядь действительно соскользнула с плеча и легко задела его запястье. Марк не отдёрнул руку. Алина тоже не сразу пошевелилась. В этом не было ничего откровенного, ничего, что можно было бы назвать проступком. Только волос на коже, его дыхание рядом, восковая табличка под её пальцами и внезапное знание: иногда опаснее всего то, что почти не случилось.

Алина медленно убрала волосы за плечо.

— Так лучше видно? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Марк ответил не сразу.

— Да.

Он отступил на полшага. Слишком поздно — не потому, что произошло что-то непоправимое, а потому, что оба уже заметили, как много сил понадобилось для этого малого отступления.

Некоторое время они работали молча. Только скрип стилуса по воску, плеск воды в перистиле и далёкие голоса со стороны улицы.

Потом Марк сказал:

— Ты права.

— В чём именно? Я предпочитаю точность.

— Риторика — не украшение.

Она посмотрела на него.

— Тогда что?

Марк провёл пальцем по исправленной строке.

— Власть над теми, кто слушает.

— И?

Он поднял глаза.

— Ответственность перед теми, кто не может говорить сам.

Алина замерла. Он запомнил. Не просто повторил. Запомнил так, будто фраза задела его где-то внутри и теперь мешала ему быть прежним.

— Хорошо, — сказала она тише.

— Только хорошо?

— Для первого дня достаточно.

— Это не первый день.

Для Каллисты — нет.

Между ними снова легла эта тень. Не соперница и не призрак, а женщина, без которой их разговор вообще не состоялся бы. Каллиста — та, кто учила его до Алины, кто знала его слабости, кто записывала его ошибки на воске и свои собственные, вероятно, прятала глубже.

Алина осторожно закрыла дощечку с её заметками.

— Для меня — первый.

Марк смотрел на неё слишком пристально.

— Иногда мне кажется, что ты действительно в это веришь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.